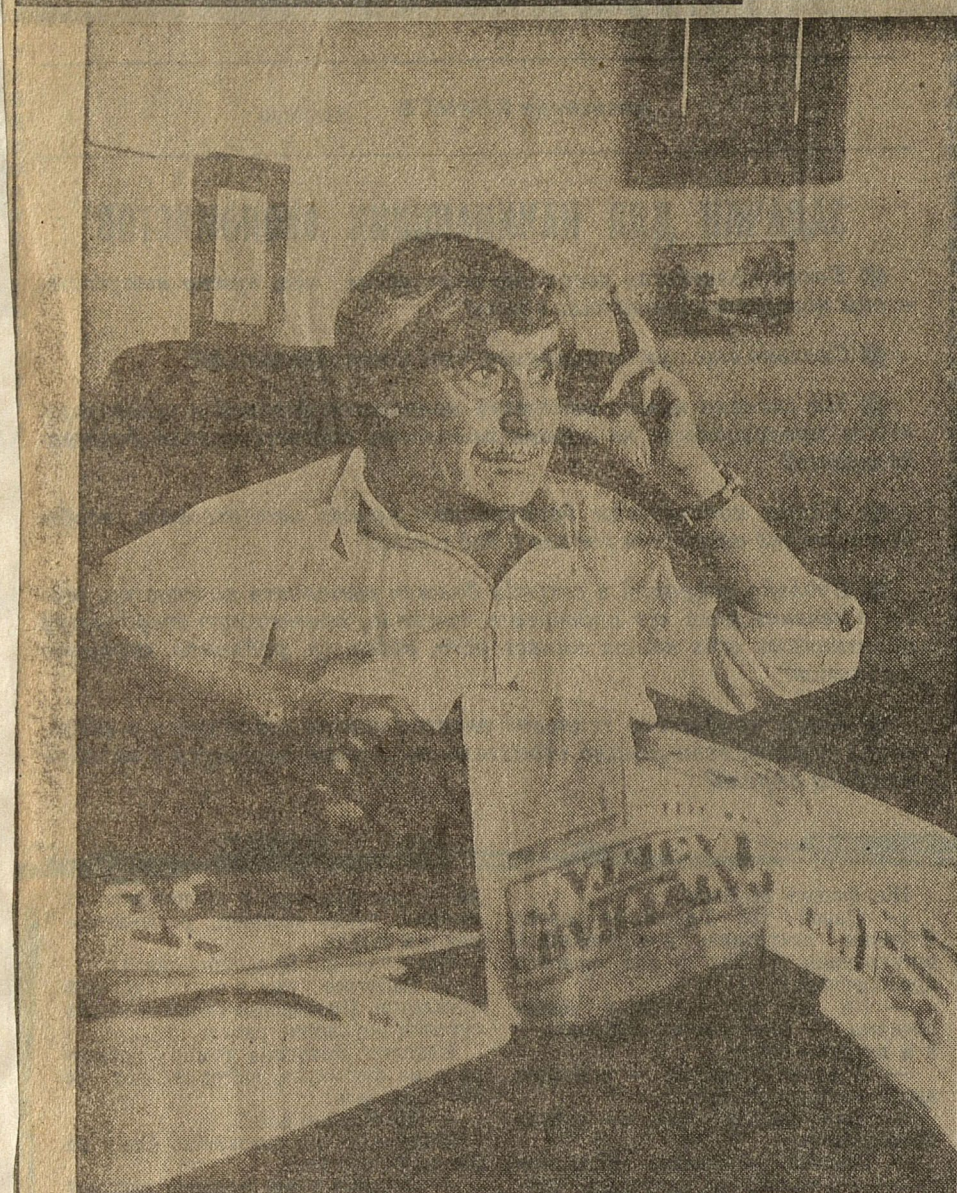


СВИДЕТЕЛЬСТВА



Виктор Некрасов

жовались, у кого сохранились пистолеты — стреляли в воздух и опять бежали за водой. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Предсказание зания Вячеслава — Каменная задница, он же Бараний лоб, как звали в гимназии юного Вячеслава Скрыбина, через четыре года исполнилось в этот незабываемый весенний день.

Мы победили! Фашизм — самое страшное на свете — разгромлен. Муссолини повешен вверх ногами. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Через месяц черно-красные стали с орденами и свастиками падают к ногам победителя — великий Сталин будет улыбаться с мавзолея.

Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, толкал теперь всю силу народа, повернувшего в его гонимый, покаявшийся, его больше обманывали, что только суровой правдой в глаза можно его объединить, что к потокам крови прошлого, невоенного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчишки, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина.

В мире возвратится мир! Возмощ, наконец, солнце Свободы для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня...

Именно в это — что Красная Армия принесла миру мир и свободу! — верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу:

«Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно».

Тридцать шесть лет назад я так думал. Дико тосковал по безрассудному своему «колышам».

А потом появилось телевидение — жертвы, мол, бандитов! <...> А по ночам «колышки» грабят магазины, ищут сигареты, торгуют «нашпиновыми», меняет на ташиш. Да-да, ташиш. «Колышек» стал наркоманом, водки ему уже мало. И вечно голоден. Жрать хочет...

Я жадно расспрашиваю людей, приезжающих из Союза, что говорят дома об Афганистане, Польше. Разводят руками. Большинство ничего не говорит. Не знает. Радио глушат. В газетах врут. Какие-то слухи доходят. Иногда похорошки — «погиб, выполняя свой долг...» Тогда начинают что-то понимать. А в массе, в очередях: «Американцы и китайцы хотели прикарманить Афганистан, вот и не дали им... А поляки? Как те чехи. Чего им не хватало? Поцелуй, поцелуй нашего живущего, за границу пускают, а вот, видишь, кобелят. С жиру бесятся...»

Может быть, это самое страшное. Мы недооцениваем силу советской пропаганды, магию газетной строчки. Никто ничему давно уже не верит, а все же ложь эта оболочивает, влезает в душу. И девятнадцатилетний Ванька в ушанке со звездочкой на первых порах верит, что американцы и косоглазые позарились на наших соседей. А потом, раскумекая, злой, голодный, меняет автомат на ташиш... А до этого стрелял из него. И потом тоже. В итоге? А хрен его знает, туды его растуды, разве поймешь? Приказывают — стреляю...

Нет, такого у нас не было. Мы знали, кто наш враг, и знали, что он жесток и силен, и не мы, а он позарился на чужие земли. И тот же Ванька тех лет, с красной звездочкой на ушанке, мера в окопах и шел в атаку, хотя отца его, возможно, и раскулачили, а о том, что три года тому назад мы сами заграбастали «чужую» Прибалтику, просто забыли, а может, и не знал. Он защищал свою землю. <...>

ЦК и, конечно же, все последние идеологические решения и постановления партии.

Советская литература, самая передовая в мире, всегда находилась в состоянии мобилизационной готовности. Всегда готовая к бою. За без малого тридцатилетнее мое пребывание в рядах славного нашего Союза писателей я не припомню дня, чтобы мы с кем-нибудь да не боролись буржуазным национализмом, великодержавным провинциализмом, космополитизмом, низкопоклонством, бесконфликтностью, воспеванием сего прошлого, отрывом от современной тематики, с недооценкой рабочего класса, ну и, конечно же, с алкоголизмом. С этим последним борба не оспаривается никогда — ни днем, ни ночью, ни в жизни, ни в творчестве. Здесь я понес наибольшие потери. Даже Твардовский, отнюдь не гушавшийся в быту, выплескивал из стаканов моих героев водку и вливал туда пиво. <...>

ПОЛЖИЗНИ до книги, полжизни после, Подвизаться какие-то итоги.

Тридцать лет в партию — самая жестокая, самая трусливая, сильная, беспринципная и растленная в мире. Поверил в нее, вступил и к концу пребывания в ней — возненавидел. Три года в армии, в самые тяжелые для нее дни. Помнил ее и победы ее горжусь. Помнил вечно чуждого недовольного радостью, бойца, — солдатом он стал называться позже. Нет, не того, что на плакатах или в Берлине, в Тиргартене, спокойного, уверенного, в каске — их никто никогда не видел, — а другого, в пилотке до ушей, в обильно размазанных омотках, ворчливого, матюкающего старшину больше, чем немца, пропавшего пол-Европы и вскарабкавшегося на рейстаг. Я знал этих двоих — Егоров и Кантария — смекалистых ребят, дружно выступавших после войны в оккупационных войсках. <...>

Позово нам, и все! — признавались они потом за рюмочкой. — Таких групп, как наша, было не меньше десяти или двенадцати, но мы вот первые добрались и звездочки повесили нам, а не тем. А могло быть и иначе... <...>

Генералов я почти не знал. С маршалом Чуikovым, командующим 8-й армией в Сталинграде, которого мы все боготворили, — он не сблизился ходил по передовой в своей ушанке — я столкнулся уже потом, в Кизиле, он командовал Киевским военным округом. Ленфильмовцы упростили меня показать ему сценарий будущей «Солдаты». В восторг он не пришел, но и ругать не ругал, как впоследствии генералы Политуправления, только сказали: — Что же вы Зайцева, прославленного нашего снайпера, не показали? Зря обогли, Восток! <...>

А Зайцев, Герой Советского Союза, в то время был уже секретарем Подольского района в Кизиле и физиономия успела отстать, и встречаться с ним не хотелось. Да и сам-то Чуиков в дни хрущевской «оттепели» говорил своему другу Вучетичу, обесмертившему его в своем мемориале на Мамеевом кургане в образе титанского голого солдата с автоматом в руках: «Держись, брат, наша возьмет, партия победит!» Это когда монополистом в искусстве казался, что их теснит. <...>

ПОЛЖИЗНИ до книги, полжизни после, шись в запутанном клубе воспоминаний, эмоций, противоречий. Как и положено советскому (хотя и в прошлом, но по-прежнему оставшемуся) писателю, все еще в долгу у требовательного, взыскательного читателя. Постараюсь его все же как-то оплатить.

Один из излюбленных вопросов здесь, в Париже: — Вот появятся на пляс де ла Конкорд красные звездные советские танки, что ты будешь делать?

— Напляс с первым же танкистом! (В других условиях, но нечто подобное произошло со мною в Люблине. Напляс, не забыв о себе, танкистом ливом, размахивая вперед на Краковское Пшемысле, за что и был награжден снайперской пулей.)

— Ну, а дальше что?

— С ним же, танкистом, и опохмелюсь. Люди, лишние юмора, смотрят на меня осуждающе, даже враждебно.

Но шутки в сторону. Во-первых, в советские танки на пляс де ла Конкорд я не верю. Трусилые наши так называемые руководители мир не знал. Стукнул Трумэн кулаком, и Сталин (даже Сталин!) вмиг вывел свои войска из иранского Азербайджана, проявил твердость Кеннеди, и Хрущев убрал ракеты с Кубы. <...> И все же самая сильная в мире армия — Советская, сменявшая собой Красную. С этим приходится считаться.

Когда над Мамеевым курганом пронеслись на бреющем полете, возвращаясь с задания, насильно истребленные «Ильи», у нас замирали сердца, мы с гордостью смотрели на красные звезды на крыльях. И своей, на пилотке, ушанке, фуражке, тонке горделив. Красная, пятиконечная, продрывляла она странные перестраиваемые «набурбачи» раненых в госпиталях. И даже осыпанная бриллиантами под драбными подбородками маршалов, она вызвала уважение.

Сейчас она покрыла себя позором. Для афганца она теперь то же, что была для нас когда-то паучья свастика. Она — символ поражения.

Ну, а все-таки выпью я «свои сто грамм» в советским танкистом? Не на площади Согласия, туда он никогда не придет (без капиталистического мира, американских займов, финских ячменей, французских курочек зрелый наш социализм и дня не проживет). — в другом каком-нибудь месте, не знаю, еще каком, но выпью! И он скажет мне тогда... Что он может сказать?

На мининной полке у меня в Париже висит фотография, обобщающая в свое время все журналы мира. На ней, молчаливый советский танкист, в Прате, в незабываемом 68-м году. Закурив в своей башне, смотрит на незнакомый, такой чужой ему город, на людей, которых он пришел ли освободить, то ли зацеловать, то ли покорить, и мальчишеский лоб его наморщил, и во взгляде только недоумение, растерянность и мучительно бьющаяся мысль — зачем я здесь? Зачем? И что мне делать?

«За правое дело». Так называлась замечательная книга большого русского писателя Василия Гроссмана. Она посвящена Сталинграду, одной из величайших битв в истории войн. Прочисни он сейчас, Василий Семенович, мурашки пошли б у него по телу от одного этого названия. Он, умный, даже мудрый, много знавший, чего не знали мы, предельно правдивый, даже он считал, что мы воевали тогда за правое дело.

Враг будет разбит! Победа будет за нами! Но дело наше оказалось неправое. В этом трагедия моего поколения. И моя в том числе.

7.5.1991 г. ИЕРУСАЛИМ

Текст подготовил А. ПАРНИС

ТРАГЕДИЯ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«В окопах Сталинграда»: ДО И ПОСЛЕ

Один из своих последних очерков В. П. Некрасов закончил сурскими словами: «Бог ты мой, как трудно быть сурским писателем. Как трудно жить по совести...»

После многолетнего запрета книги Некрасова медленно, но все же возвращаются к нашему читателю. Новые сборники (со статьями Е. Г. Эткинда, Р. Д. Орловой и Л. З. Колесова; составитель А. Е. Парнис), включающие многое из написанного в эмиграции, подготовлены издательством «Художественная литература» и советско-британского предприятия «Словес». Здесь будет помещен и очерк «Через сорок лет...», впервые напечатанный в книге Некрасова «Сталинград» («Посев», 1981).

по друзьям-офицерам, чуть меньше по начальству. И хотелось, чтоб все любил мою Красную Армию, армию-освободительницу. Она заслужила это — своею кровью, потом, ранами, мучениями... Ну, а Сталин, Верховный Главнокомандующий?

В начале 1947 года, когда «Окопы» мои попали в издательство «Советский писатель» (до присуждения еще премии), вызван я был цензоршей, случай уникальней. Она укоризненно посмотрела на меня и сказала: — Хорошую книгу вы написали. Но как же это так — о Сталинграде и без товарища Сталина? Невольно как-то. Вдохновитель и организатор всех наших побед, а вы... Дописали бы вот ценку, в кабинете товарища Сталина. Две-три странички, не больше...

Я прикинулся дурачком. Не писатель, мол, писал о том, что знал, что видел, а сочинять не умею. Не получится просто, поверьте мне. Так и разошлись. А через десять лет, после XX съезда ужи, в своем кабинете директор Воениздата чуть ли не слезно просил выкинуть те две-три строчки, где говорится о моем офицере по Сталину. Я отказался. И не из любви к Сталину, разумеется.

В те дни домами, мирками обвивая с постаментов бюзновы, гранитные, мраморные, гипсовые фигуры пропавшегося вождя, а на плакатах замазывали его профиль, соседствовавший на всех знаменах с ленинским. (Боясь, что сейчас, высидев он где-нибудь в тихой бухте в Крыму, — я верю в загробную жизнь, — я направил свои стопы в Москву, многие его встретили б, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, цветами. Маршал Устинов первый поклонил бы коленом...)

Вы воевали за Сталина. Вы шли в атаку, нарывая плотьку: «За Родину, за Сталина!» (признаюсь, со мной это тоже случалось), вы защищали самую страшную в мире систему, может, познанием гитлеровской и, видите, во что это вылилось?

Так говорят мне многие здесь, на Западе. Выну, отвечаю я, — но воевали мы тогда не так «за», как «против».

В нашу страну вторгся враг, и мы должны были его прогнать, уничтожить. Всех, кто носил ненавистную нам форму и «Gott mit uns» на пряжках поясов. Я не вправе осуждать властителей — я с ними не сталкивался, многого не знаю, — но попадали они на нашем пути, мы б в них стреляли.

А вот во что это выльется, мы этого не знали. Никто тогда не знал. Я шатаюсь с рукой на перевязи по освобожденному нами Люблину и видел только улыбки. Меня пригласили, угощали, поили. Столько выпито было «бимбера», крепчайшего польского самогана. Счастливые дни! Сейчас я не отвлечусь бы со своим русским языком сунуть хоть кончик носа на улицы того же Люблина, Варшавы. И на улицы Праги тоже. А ведь и там мне улыбались, глядя на мои потуги (я был уже журналистом, но с ними не расставался), и угощали, если не «бимбером», то хмельным советским пивом.

Я не знаю, что и с кем пью сейчас советские офицеры расквартированных в «братской» Польше дивизий. Не знаю, о чем они думают, о чем они говорят, «раздавленная» свою очередную поллитровку, но я знаю твердо — сочувствующим их никогда не будет поляк.

Я встречался с человеком, бежавшим из Афганистана. Афганцем. Десять лет проучился он в Москве, кончил университет, аспирантуру, сдружился с русскими, полюбил их, пел вместе с ними «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце». А теперь, — с какой горечью говорил он мне, — эти же русские, эти наши солдаты, Русских ненавидят! Все. Поглодили. А ведь когда-то любил...

Слушаешь, и кровь холодеет. Наш «березовый колышек» стал оккупантом. Это он ищет напалмом деревни, отравляет газам (восьмилетняя дочь моего афганца до сих пор проходит курс лечения, отравили целую школу).

Тридцатилетний, но все еще мальчишка, мирно дремавший на военных занятиях в институте (беседа Фарбера с Керженцевым под звуки Пятый симфонии), получив в свое распоряжение восемьдесят «подлых необученных» гавриков и должен был обучить их военному искусству. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал добывать колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видел живой мины, детонатора, взрывателя, бифидоводя шнур. О том (тринитротолуоле) знали только, что он похож на мыло, а динамит — на желе. Оружия не было. Стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище сделал по одному выстрелу — патронов и на фронте-то было в обрез. <...>

«Вступление в дело» вылилось в повальное бегство. Утром «юнkersы-99» засыпали бомбами, на бегущем пронесли «мессера» и ползли на нас танки. Мы лежали в кустах «рубчака», который должны были держать, и тихо заполняли штаны. Я скомандовал: «По одному, перебежками, к той роше!» и сам за бойцами засверкал пятками. Знаменитый Нур-миди мог мне позавидовать.

Так началась «моя» война. Закончилась она в июле 1944 года в Люблине — пуля немецкого снайпера с крыши дома на Краковском Пшемысле перебила правую плечевую чашу. Через полгода был демобилизован, стал именовать «инвалидом Отечественной войны II группы», получил пенсию. Оставалось только переждать фляжки на большой, немецкой происхождения карте Европы, повешенной на стене, на самом видном месте.

9 мая 45-го мы все написали, без конца де-

Год 1961-й, когда я взялся за это не столь легкое последствие, насыщенный юбилеями. Дожили до него, отразившись в свое столетие «первый красивый офицер» К. Е. Воронин, и Пабло Пикассо, и Стефан Цвейг, и звезда русского балета блестящая Анна Павлова, и родная тетя моя С. Н. Мотовилова, тетя Соня, человек, ничего никогда не боявшийся, с меньшим авторитетом, но с пылом, не уступающим корольковскому, протестовавшая против всех беззаконий.

Сорок лет назад началась Великая Отечественная война, которую на Западе предпочитают называть Второй мировой или войной с фашизмом, а французская «Юманите» назвала даже Великой интернациональной.

Свой юбилей, тридцатилетний, отмечая и эта книга. Вернее, роман «Сталинград», появившийся на свет в №№ 8, 9 и 10 журнала «Знамя» за 1946 год. Кое-кому из литературную власть предержащих столь обоимое название показалось кощунственным, и в последующих отдельных изданиях роман превратился в повесть, а «Сталинград», ставший символом и понятием карательным, в менее обзывающееся — «В окопах Сталинграда». На искушенный еще в тонностях социалистического реализма автор с некоторым удивлением, но мужественно перенес первый нанесенный ему удар.

Самое появление повести казалось в те дни невероятным, неправдоподобным. Литературная общественность растерялась. Книга о войне, о Сталинграде, написанная не профессионалом, а рядовым офицером. Ни слова о партии, три строчки о Сталине... Не влезало ли в какие ворота. С другой стороны, свои страсти предоставил ей более чем авторитетный журнал «Знамя» и редактор его В. В. Вишневский, живой классик, один из влиятельнейших руководителей Союза писателей, человек, во всем искусственный, знает, что к чему, что можно, чего нельзя.

Вот и началось в бесчисленных дискуссиях и статьях — со-то, конечно, правдивый рассказ и самым участником написанный, но нет в нем широты, охвата... Взгляд из окопа. Дальше своего брестера автор ничего не видит... Приблизительно в таких выражениях говорил о повести тогдашний генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев. Это не мешало, правда, секретариату при президенту, на заседании которого он выступал, заочно принять автора в этот самый Союз писателей, случай беспрецедентный.

Через год тот же Фадеев, председатель Комитета по Сталинским премиям, вычеркнул в последнюю минуту фамилию автора из списка награжденных, отправленного пред светлые очи. Непосредственно пути Господни — наутро обоим автор увидев свое собственное изображение в «Правде» и «Известиях». (Во, Вишневский потом, загадочно подмигивая, шепотом, заперев предварительно все двери своего кабинета, сказал автору: «Только Сам мог вспомнить, никто другой...» — и развел руками.)

С этого дня книга стала Армером, образцом. Все издательства наперебой начали ее издавать и переиздавать, переводчики переводили на всевозможные языки, критики только хвалили, абы, что недавно еще обвиняли автора в «аппаратизме» и «ремаркизме». Через десять лет по книге поставлен был фильм «Солдаты», со своей, правда, тоже мелкой судьбой.

Сейчас в Советском Союзе книга запрещена, внесена в какие-то списки, из библиотек вытаскивают (говорят, только в Лефортовской тюрьме сохранилась), а фильм, заживший собственной, безотносительно к автору, жизнью, иногда где-то показывается, в юбилейные дни — 23 февраля и 9 мая.

ИТАК, прошло сорок лет. Со дня начала войны. Тридцать пять с того момента, когда поставлена была последняя точка в рукописи, которая называлась тогда «На краю земли», и автор побежал к Елене Петровне, знакомой машинистке, и стал по вечерам диктовать написанное, страницу за страницей.

Автору, то есть мне, было тогда тридцать пять лет. Сейчас семьдесят. Полжизни до книги, полжизни после.

Первая половина — детство, отрочество и юность. В общем-то, аполитичная, хотя к чтению газет — в основном киевской «Пролетарской правды» — привык с раннего детства. В годы гражданской войны «белая» за Деникина, Колчака, Врангеля. В 1924 же году — тринадцатилетним мальчиком — отморозил себе уши, толпясь на Крепачке под траурные гудки заводов — умер Ленин. К великому недоумению родителей, повесил в столовой громадный портрет вождя и конверты (подражая матери, любил писать письма) старательно обводил черной тушью.

Ни пионером, ни комсомольцем никогда не был. Отношения к ним ироничные, как и к самой советской власти. Ближайшие друзья — школьные, профессорские, институтские — тоже. С политзанятиями, всяких дилеммат и общественных решений очередных съездов, тут же их забывали и бежали на пляж. Что творилось на селе — тридцатые годы, коллективизация — знали больше понаслышке, хотя иной раз и выдали подводы, набитые трунами. <...>

В тридцать седьмые годы чудом, не задела. Загнала. Родители из «бывших», дворяне, та самая бесстрашная тетя Соня писала письма Крупской, Гогину, Бонч-Бруевичу по поводу несправедливых арестов, другая тетя жила в Швейцарии — оживленная переписка, деньги на «торсин»... И никого нигде никогда не вызывали. (Только отдаленного какого-то дядюшку-богача в Миргороде посадили.) Чем это объяснить — не знаю. Может, убергли чистоту, жившие всегда в одной из комнат нашей уютной квартиры — мать лечила всех их детей, да и их самих заодно.

Так прошла молодость. Кончил институт, театральную студию. Работал в театре. Бродячем, левом, полугалемном. Искосил все дыры Киевской, Житомирской, Винницкой областей. «Тайна Нельской башни», «Стака воды», «Парижские нищие», «За океаном», отыскались даже на «Анну Каренину» — стыдно вспомнить. Потом Владивосток, Киров (бывш. Вятка) — это уже настоящие театры. Ролишки третьеразрядные. Подкалывал декорациями. По вечерам что-то писал. Писал в журналы. Возвращался. И счастью... Последний театр в Ростове-на-Дону. Театр Красной Армии. Оттуда и взялся в армию. Война.

Сталинград. Донец. Ранение. Госпиталь в Баку. Второе ранение — в Польше, в Люблине. Киевский окружной госпиталь. Правая рука парализована, пуля задела нерв. — Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям, — сказал мне как-то лечащий врач по фамилии Шлак. — Есть у вас любимая девушка? Вот и пишете ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.

Любимой девушкой у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпитали в Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо.

В ДЕНЬ, когда мне стукнуло тридцать пять и первая половина (на сегодняшний день...) жизни кончилась, рукописи была уже в наборе. Исправлений почти никаких, дописана была только концовка — «для композиционной закругленности». До этого заветная моя папка побывала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журналу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Александрова, известного критика и чудака, прокужавшего всем уши: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слышал, что такое социалистический реализм... Прочтите обязательно!»

Да — слыхом не слышали и беговоры Ремарка, конечно же, Хемингуэй — все им тогда увлеклись, до того Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгром», «Разломов» и Николаев Островский. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.

И тут — война!

Тут-то мы попали и самому существованию, для чего, собственно говоря, это последствие и пишется.

Страшная миссия, унесшая столько жизни, начавшаяся с «вероломного нападения», десятидневного сталинского то ли вояжа, то ли депрессии, трагического отступления и немалых потерь, закончилась красным флагом над рейкстагом. Для всего моего поколения годы эти оказались переломными, экзаменом. Опианово для полупарализованного Валети с далекого Алтая и интеллигентного горожанина, без особого успеха подымавшегося на подмостках и писавшего никому не нужные рассказы.